

ЛОКАРМЕН

РАСКРЫТЬ

Лазарь Кармен

СЫН МОЙ

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

Лазарь Кармен
СЫН МОЙ

— Сын мой, радость моя!
— Папка, где ты пропадал? Я три дня не видел тебя!

— Неужели соскучился?

— Конечно. Как же ты так?

— Мальчик золотой!..

Отец в сильном возбуждении несколько раз горячо поцеловал сына, потом поднял его высоко на руки и стал подбрасывать к потолку, громко напевая «Марсельезу».

— Папка, что с тобой? Ты такой веселый!.. Ой, боюсь, уронишь! — И мальчик заболтал в воздухе ногами и засмеялся.

— А-а, трусишь! Я и не знал, что ты такой трусишка! Ну, да бог с тобой. — И отец бережно опустил его на пол.

— Папка, где ты измял так свой костюм? И почему лицо у тебя усталое, небритое?

— Я две ночи не спал, детка. Мама где?

— Она на шоссе. Туда все пошли, там участок горит.

— Вот как. Стало быть, и здесь то же самое.

— Папа, вчера у нас тут шли с красными

флагами, пели «Марсельезу», и у всех нацеплены были красные ленточки. У меня тоже такая ленточка, мама купила.

Сын побежал в детскую и вернулся с красной ленточкой, приколотой к груди.

– Папа, папа! – захлебываясь, продолжал мальчик. – Я видел на станции девочку с большим черным пуделем. На шее у пуделя был красный бант; это она нацепила ему. И всем, кто проходил, она говорила: «Собака тоже сдалась, как тот министр».

– Ха-ха-ха. Забавно.

– Папка, да расскажи же, где ты пропадал и что делал?

– Сейчас, дай только умыться и закусить.

Отец освежился холодной водой, с жадностью поел кусок хлеба с маслом, выпил стакан молока и закурил папиросу. Он подошел к окну, в котором виден был весь дачный поселок с его бревенчатыми игрушечными домиками, садиками, пустырями, заборами и улочками, выбеленный снегом. День был солнечный, и снег искрился и сверкал, отражая, как в зеркале, оголенные черные кустики калины, мелкие ели и сосны. Из множества

труб вились серебристые дымки. У окна сильно припекало.

– Благодать, – проговорил отец.

– Папа, ты ведь обещал.

– Да-да!

Отец обнял сына, подвел его к оттоманке и, усевшись с ним поудобнее, поуютнее, пригнул его золотую головку к своей груди.

– Где пропадад, хочешь знать, мальчик мой? В городе.

– Но там, говорят, стреляли из пулеметов.

– Да, стреляли.

– И ты не боялся?

– Вначале боялся, а затем привык.

– Если бы я знал, папка, не пустил бы тебя.

– Глупенький... А здорово палили. Ходишь по улице, и сверху – трр, тррррр, та-та-та.

– Тебя ведь могли убить.

– Могли. Но я был осторожен и обходил опасные места. Но были такие отважные, которые совсем не боялись пулеметов и шли прямо навстречу смерти с пением.

– Папа, отчего это все? – И светлые глазки мальчика с жадностью уставились в отца.

– Отчего?... Изволь... Тебе теперь следует

все знать.

Отец закурил папиросу и кратко стал знакомить его с историей народного движения. Он рассказал о задавленных бесправием и нищетой крестьянах и рабочих, о гонимых инородцах, о светлых девушках и юношах, которых за попытку облегчить страдания народа старое правительство тысячами отправляло в Сибирь и на виселицу. Тонкое и нежное личико мальчика становилось все строже и серьезнее.

– Папа! Папа!

– Жутко, не так ли?... А помнишь, детка, наш внезапный отъезд из Куоккалы, Финляндии. Он был так неожидан для нас и наших друзей. После долгой, суровой зимы мы наслаждались дивным апрелем и радостно готовились к лету. И вдруг является ленсман с двумя полисменами и объявляет, что по распоряжению кронштадтского коменданта мы в три дня должны оставить Куоккалу. Почему? За что? Неизвестно. Ленсман чувствовал себя очень неловко, извинялся и говорил, что они (финны) ни при чем, это русское правительство... И мы должны были в три дня сло-

житься и убраться. Нас выселяли, как преступников, как зачумленных. И мы не смели протестовать... Мы с мамой скрывали от тебя правду, говорили, что хочется повидать новые места. Ты был такой маленький, и мы не хотели вливать отравы в твою нежную душу...

– Папа, а я знал, что нас выселяют. Мне говорили финны на станции.

– Вот как, детка!.. Ай, как больно было... На станции – весенняя толчея. Переезжают дачники, играет у пакгауза на гитаре и губной гармонике, прилаженной к гитаре, слепой гитарист. Солнце, теплынь. Пахнет свежей землей, березовыми почками, щебечут птицы. А мы с мамой, как оплеванные, стоим в сторонке. Люди в эту благодать едут за сколько верст, а мы отсюда. Но мы не выдаем нашей боли и смеемся и шутим с горсточкой преданных милых друзей, пришедших провожать нас с букетами цветов. Но минутами меня охватывает бешенство. «По какому праву?!» Надо отправить тебя и маму, а самому вернуться назад в пустую квартиру, забаррикадироваться. Пусть выселяют силой. Я требую!

Я хочу знать, за что! Они скажут, я еврей и потому неблагонадежен. И я брошу им: «Кровопийцы, врете, нагло врете!.. Вам необходим для вашей гнусной политики такой поклеп... Это ваши Мясоедов, Сухомлинов, Штюрман, Фредерикс, а не мы!» Но они и говорить со мной не станут – заберут и кинут в тюрьму или расстреляют... Но слушай дальше. С разрешения Выборгского губернатора мы выехали в Вильманstrand. Как на грех, здесь было очень хорошо. Помнишь? Но не прошло и десяти дней, как явился полицейский, потребовал две марки и вручил нам бумагу о вторичном выселении. Нас опять гнали, не дав передохнуть. Я помчался к губернатору. Выяснилось, что чиновник по ошибке указал нам на Вильманstrand, здесь также евреям жить не разрешалось. Я насилу отвоевал вас – тебя и маму, мне же было предложено немедленно оставить Вильманstrand. Прихватив немного белья, в тот же день отправился в Петроград. Здесь мне по закону уж никак жить не полагалось, но благодаря добрым друзьям, дававшим мне ночлег, и чисто звериной осторожности я кое-как тянул свое существование. Я

очень тосковал по вас. Иногда бродишь по пустынным улицам в белые ночи один и в отчаянии хочешь стукнуться головой о стену дома. Стосковавшись вконец, я сажусь в поезд и мчусь к вам через Белоостров. Я старался приезжать с сумерками и, как вор, крадучись вдоль заборов и хоронясь за соснами и придорожными камнями, пробирался к вам. Первые два дня я прячусь дома, а на третий, осмелев, выхожу на улицу. Помнишь, мы катались по Сайме и рвали огромные и светлые, как фарфоровые чаши, водяные лилии, ходили к шлюзам и смотрели, как пропускают груженые лесом лайбы. Иногда мы забирались на один из сотен островков на воде, разводили костер и пекли картошку. И всегда, когда я попадал на такой островок, я с болью думал – уж чего пустыннее, чего диче этот островок, один камень, сосна, змеиные норы, а и здесь жить строго-настрога воспрещено...

А помнишь еще, как однажды мы возвращались с тобой на велосипеде домой за пять верст из соседней деревни лесом. Ты стоял сзади меня на подножке в своей полосатой фуфаечке и пестрой итальянской шапочке.

Хорошо было. Пахло сосной, звонко куковали кукушки. Иногда в просветах елей, берез и сосен усмехнется серебристая Сайма. Часто на ходу ты соскакивал с подножки, подбегал к сосне и, набрав свежей земляники, подносил мне. Иногда навстречу нам показывалась цыганская фура, набитая цыганами, или мчался автомобиль с туристами, возвращающимися с Иматры, и шли рабочие с катушечного завода и одинокие крестьянки с молочными продуктами.

Вдруг из-за сосен вывернулся полисмен, тот самый, который вручил мне бумагу о выселении. Ах, как он выпучил глаза. Его ошеломила моя дерзость.

«Н-да-с!» – вырвалось у меня.

«Что да-с, папа?» – спросил ты.

«Ничего, детка, когда-нибудь узнаешь». – И я сильнее нажал на педали.

По приезде домой я тотчас же собрался и оставил деревню. И хорошо, что поспешил, полисмен не замедлил нанести визит нашим хозяевам, добрым финнам, и пригрозить им штрафом...

Переехали мы наконец сюда, и здесь нам

не давали жить. Помнишь, всю зиму и лето толклись у нас урядники и понятые – грязные, бородатые дворники с запахом махорки. Ясное, красивое лето они превратили в сплошные сумерки. Я поседел, постарел.

Конечно, я мог избежать всех этих мучений, стоило только переменить религию...

А помнишь, как однажды я исчез на целую ночь и вернулся домой под утро с большим ломтем черного хлеба в кармане? Меня арестовали за бесправие, и всю ночь я просидел в одной камере с ворами. Пристав был великодушен и отпустил меня, но посоветовал не попадаться в другой раз, иначе будет плохо...

Мама твоя, когда я познакомился с нею, была очень молода и нежна, – ты видал ее на портрете. Маму тогда очень волновал рабочий вопрос. Она посещала все собрания, сходки. Однажды она отправилась на сходку далеко за город у заброшенной каменоломни. Мне так не хотелось ее отпускать. Я как бы предчувствовал недоброе. Сходку накрыли. Рабочих окружили в темноте здоровенные, откормленные полицейские и полосовали всех нагайками и били железными наручника-

ми... Слышишь? – Голос отца дрогнул. – Поло-
совали нагайками и маму твою, нашу милую,
родную маму...

– Папа... – Сын стремительно прижался к
щеке отца. Личико его побледнело, и в глазах
загорелись огоньки.

– Да, да, – продолжал, забывшись, отец. – И
на другой день, когда я явился в участок, меня
не допустили к ней. Ее усадили со скверными
женщинами, и только на пятый день я уви-
дал ее через толстую ржавую решетку каме-
ры. Лицо у нее было в синяках, измученное.
Но я долго не знал, что ее били; она скрывала
от меня... Знай бы я тогда, я, быть может, по-
считался бы с ними... Детка, вчера их вели...
по улицам... десятками, наших врагов, наших
палачей, мучителей... Их снимали, как гадов,
с чердаков, куда они попрятались и откуда
стреляли, с благословения царя, из пулеметов
по голодному и изболевшемуся народу... Они
шли мимо меня униженные, жалкие, разбух-
шие, как пиявки от человеческой крови. Их
окружали солдаты и матросы, и им свистали
и грозили кулаками...

– Папа, а ты? – спросил, тяжело дыша,

сын... – Ты ничего им?

– Ничего... Я ни словом не обмолвился. Бог с ними. Они и так наказаны. На этом великом и светлом празднике они как пасынки... Но зачем я тебе все это рассказываю? – спохватился отец и порывисто и горячо обнял сына. – Зачем я омрачаю твою нежную душу? Все прошло. Их – этих палачей – уже нет. Они растаяли, как снег под ярким солнцем. Мы теперь свободны, и никто не придет больше терзать и гнать нас. Ты понимаешь теперь, почему я так весел? Вчера народ с оружием восстал против своих врагов и победил их.

Лицо мальчика озарилось кротким светом.

– Папа, ты сражался?

– Нет, дитя. Мне стыдно сознаться. Я пришел уже к концу, когда замирала стрельба, и почти все было кончено. Чтобы сражаться впереди за свободу, надо быть очень сильным и красивым.

– Папа, много убитых?

– Много... есть и женщины и дети... Завтра хоронят их. Мы пойдем на похороны, прихватим цветов, побольше цветов и возложим на дорогие могилы.

– Да, да, папа!

– Помни, дитя, вот завет мой: люби рабочих, писателей, всех-всех, кто всегда боролся и борется за правду и лучшее будущее человечества. Особенно – рабочих.

Лицо отца вдруг стало озабоченным, серьезным.

– Дитя мое, сейчас вокруг нас ясно, светло, но кто знает, быть может, враг, не сломленный окончательно, точит в тиши нож и, выждав удобный момент, кинется на нас, чтобы вернуть себе власть. Если это случится, мы бесстрашно выйдем с тобой на улицу и станем в ряды рабочих и солдат, чтобы не отдать вырванной с таким трудом у палачей свободы. Не так ли, сын мой?

– Да, папа!